

русские дамы в ложах последовали примеру княгини и тоже аплодировали.

Видя сияющее лицо Г[олицына], я догадалась, что все это устроил он; вот почему ему так и хотелось затащить Глинку в театр.

Г[олицыну] было легко устроить овацию; он принадлежал к высшему кругу по своему титулу и по своему богатству и в Варшаве был свой человек в доме наместника, имел много знакомых между военными, и ему стоило только оповестить всех, что Глинка будет в театре и ему следует оказать приветствие от русских.

Непосвященные зрители остались в недоумении, что значат эти аплодисменты.

Когда начались танцы, Глинка мне сказал:

— Не стыдно вам делать заговоры против вашего старого знакомого?

Он не поверил, что я не была участницей в этом деле.

После мазурки аплодисменты были оглушительные, потому что и непосвященная публика аплодировала своему национальному танцу и требовала повторения. Глинка, видимо, был утомлен, и мы вышли из ложи. Он молчал дорогой, может быть, от слабости, и дремал. Ночь была очень темная, на неосвещенной театральной площади двигались как бы блуждающие огоньки. Г[олицын] объяснил мне, что это — проводники с фонарями, которых нанимает пешеходная публика, возвращаясь из театра домой, потому что тогда варшавские улицы и переулки были так темны, что можно было поломать себе ноги. На площади у дворца, где жил наместник, пылали два большие костра, около них стояли и сидели казаки, оседланные лошади находились тут же недалеко от костра. Это был патруль, который целую ночь объезжал вокруг дворца. Когда меня подвезли к отелю, Глинка, прощаясь со мною, сказал:

— До завтра, заговорщица!

Но я более не видела Глинки. Он прихворнул, и доктор запретил ему выходить из дому несколько дней, а я уехала из Варшавы. Это была последняя моя встреча с Глинкой.

П. П. ДУБРОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЕ О М. И. ГЛИНКЕ

Не могу еще свыкнуться с грустной и неизбежной мыслью, что вашего брата уже нет на свете...¹. Известие о его смерти глубоко тронуло всех, ценивших великий талант и возвышенную душу покойного. Утрата его — утрата всей образованной части России. С ним еще жила ее прежняя поэтическая слава, соединенная с именами Жуковского и Пушкина, которых песни он передавал в музыкальных звуках, можно сказать, почти в то самое время, как они создавались; песня сироты, в опере «Жизнь за царя», как слышал я от покойного, написана Жуковским; сверх того опера «Руслан и Людмила» и содержанием и стихами напоминает поэму Пушкина. И кому из любителей и знатоков музыки не известна ария из этой оперы: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями»? Он рассказал мне, что музыка на «Ночной смотр» (В двенадцать часов по ночам и проч.) была импровизирована им в присутствии обоих поэтов.

Итак, нашего Михаила Ивановича не стало!

Невольно теснятся мне в душу воспоминания о прошедшем и той дружбе которая соединяла меня с вашим братом.

Вы желали чтобы я описал вам все, что сохранилось у меня в памяти

подробности, может быть, никому так не известны, как мне. Охотно исполняю ваше желание и, вместе с этим, свой долг — сохранить для воспоминания некоторые характеристические черты его личности.

В первый раз увидел я его, и то на короткое время, когда он еще был в полном развитии молодой жизни. Это было в Москве, в 1834 году, у известного нашего писателя Н. Ф. Павлова, с которым я коротко был знаком. Михаил Иванович только что возвратился из Италии и уже мечтал о русской опере. Тогда же он сочинил музыку на слова Н. Ф. Павлова «Не называй ее небесной», которые до сих пор хранятся у меня, переписанные рукою самого поэта, и напоминают мне светлые года первой юности...

Вскоре после того Михаил Иванович оставил Москву и уехал к себе в деревню. С тех пор прошло много, много лет, и меня судьба забросила в иной, далекий край...

Находясь уже в Варшаве, осенью 1847 г., я узнал, что приехал Глинка, возвращавшийся из Испании. Случай свел меня с ним на вечере у Н. А. Н.³

Не забыть мне этого прекрасного вечера, проведенного в образованном и одушевленном обществе. Михаил Иванович в то время был необыкновенно вдохновен: много играл и пел из своих сочинений. Тогда же услышал я впервые его музыку на слова, переведенные из Мицкевича: «Когда в час веселый откроешь ты губки»⁴. Я изустно передал ему те же самые слова в подлиннике, и его чуткое, музыкальное ухо подметило все оттенки и всю прелесть гармонических стихов гениального поэта, хотя польский язык тогда еще мало ему был известен. Он выразил сожаление, что прежде не знал этих слов в подлиннике, и что их гораздо лучше можно бы было положить на музыку. На этом же вечере он пел свое «Прощание с друзьями», столь известное и драгоценное по воспоминаниям для тех, которые имели высокое наслаждение слышать эту песню от самого Михаила Ивановича. Действительно, какое-то вдохновение осеняло в это время незабвенного певца, и с окончательными стихами:

Я песнь последнюю пою
И струны лиры разрываю...

вырывались из груди его грустные и страшные звуки, от которых замирало сердце... Вам и другим, слышавшим это «Прощание», понятно, как трудно передать то впечатление, которое оно производило на слушателей. В его исполнении столько было жизни и задушевного чувства! Много раз слышал я его; много раз видал, как дружеский кружок, с грустными лицами, обступал милого певца и с благоговейным вниманием слушал его, когда он начинал:

Прощайте, добрые друзья!

Не раз случалось мне также слышать это «Прощание» накануне самого дня его отъезда в далекий путь и с затаенным вздохом подумать: придется ли снова увидеть и услышать его?..

На вечере у Н. А. Н. я познакомился с молодым приятелем Михаила Ивановича, с испанцем дон-Педро Фернандесом, который с ним вместе приехал и был для него почти тем, чем *fatuus** для художников в средних веках. Его серьезная и несколько суровая наружность, с смуглым лицом и черными глазами, составляла совершенную противоположность с вашим братом, который всегда был живого и пылкого характера. Несмот-

* ассистент (лат.)

ря на это, они тогда были очень дружны между собою. Дон-Педро, сам довольно хороший музыкант, не мог не сочувствовать ему. Он рассказывал мне много занимательного о своем путешествии с Михаилом Ивановичем по Испании, и впоследствии времени, когда я уже ближе с ним познакомился, в Варшаве, в 1848 году, представлял мне, с необыкновенным простодушием, романические и комические сцены, то в Андалузии, то в Гранаде, то в Севилье.

Под конец вечера дон-Педро одушевился, особенно, когда по просьбе М. И., взял гитару и вместе с ним пел народные испанские романсы, под его аккомпанемент на фортепиано. Помню, как тогда увлекательно объяснял покойный значение и смысл каждого испанского романса. Вы знаете, что он был истинным поэтом в душе и имел необыкновенный дар слова; следовательно, поймете, как приятно было его слушать и вместе с ним перенестись в Испанию, о которой он тогда вспоминал с восторгом художника.

На другой же день мы расстались. Он уехал в свою смоленскую деревню после непродолжительного пребывания в Варшаве, где ему очень понравилось. Он обещал возвратиться туда, и действительно возвратился весною 1848 года. По приезде, он был болен и никуда не выходил, и я каждый день разделял с ним его уединенную жизнь. Мы вместе перечитали тогда лучших поэтов. Нельзя было не удивляться его обширному знанию европейской литературы и искусств. Он очаровывал меня своими замечаниями о произведениях испанской поэзии и живописи. Не говорю уже о музыке. Сам необыкновенный в ней мастер, часто слушая исполнение лучших произведений Гайдна, Глюка и др., он приходил в самозабвение и однажды сказал мне: «И я не отрубил себе эту руку, которая, после таких великих созданий, осмелилась писать ноты!» — Вот истинный художник!

1848 год, проведенный Михаилом Ивановичем в Варшаве, вообще был одним из приятнейших в его жизни. Тогда он написал свою знаменитую фантазию на тему «Камаринской», романсы: «Маргарита», «Слышу ли голос твой», «Кубок» и «Финский залив». Сверх того уже начерно были написаны «Воспоминания Кастилии» (испанское скерцо)⁵. Я помню, так сказать, рождение большей части этих произведений, о чем и расскажу вам.

Покойный князь Варшавский, граф Паскевич, из особенного расположения к Михаилу Ивановичу, предоставил в его распоряжение свой домашний оркестр и певчих. Тогда он уже замышлял написать «Камаринскую»; некоторые ее части набросал на бумагу и пробовал с княжеским оркестром, который, по его желанию, иногда собирался у него дома. Не раз присутствовал я при этих пробах и был свидетелем черновой работы этого превосходного произведения. Наконец пробы были оставлены; М. И. долго не принимался за окончательную отделку и постоянно обдумывал свое произведение. В это время он даже вовсе не играл на фортепиано.— Однажды утром я прихожу к нему (это было летом) и застаю его в комнате, где за перегородкою из сетки летало штук пятнадцать птиц соловьиной породы, которую покойный любил. Он сидел за маленьким столом, посредине комнаты, перед своими птичками, и что-то писал на большом листе бумаги... Это была «Камаринская». Она совершенно была готова в его воображении: он записывал ее, как обыкновенный смертный, записывающий какие-нибудь беглые заметки, и в то же время разговаривал и шутил со мною. Вскоре пришли два, три приятеля, но он продолжал писать при громком хохоте и говоре, нисколько этим не стесняясь:—а между тем передавалось нотными знаками одно из самых замечательных

Иногда я ходил вместе с ним в замок, где жил покойный фельдмаршал. Там, в одной из его зал, собирались оркестр и певчие, которые исполняли для М. И. любимые им музыкальные произведения. Однажды капельмейстер, г. Поленс, сделал для него сюрприз. Зная, как М. И. любил музыку Глюка, он разучил с оркестром и певчими хор фурий, терзающих Ореста, из оперы «Ифигения в Тавриде». Живо помню, как исполнялся этот хор в огромной зале старинного княжеского замка. Кроме ващего покойного брата, капельмейстера, дон-Педро и меня, никого из посторонних не было. Оркестр и певчие стали исполнять этот удивительный хор; Михаил Иванович слушал, и слезы текли у него из глаз...

Расскажу теперь историю его других произведений, в то же время им написанных. Я сам навел на них Михаила Ивановича. Однажды мы вместе читали Гётева «Фауста» и остановились на песне Маргариты:

Meine Ruh' ist hin.
Mein Herz ist schwer * и т. д.

Я намекнул ему, как прекрасно было бы воссоздать эту песню в музыкальных звуках; даже принес ему на другой день русский перевод Губера,— и превосходная музыка на него была готова через несколько дней. В другой раз я читал ему Лермонтова и подал мысль написать музыку на стихи «Слышу ли голос твой»,— и музыка на них, можно сказать, была импровизирована. Вот как это случилось. Мы ездили с Михаилом Ивановичем за город, за четыре версты от Варшавы, в Беляны, где находится монастырь ордена Камальдулов⁷. Это было в мае, на другой день после праздника Сошествия св. духа и после шумного гулянья, которое там ежегодно бывает, при стечении многочисленной публики. Живописное местоположение Белян на крутом берегу Вислы, роскошная роща, благодатный майский вечер и остатки веселой толпы, оканчивавшей вчерашний праздник польскими народными танцами и песнями, под открытым небом и при пискливых звуках какой-то несчастной скрипки,— все это привело Михаила Ивановича в самое доброе и веселое расположение духа.

Мы ездили в Беляны в обществе наших знакомых, между которыми особенно воодушевляла Михаила Ивановича одна резвая и миловидная полька...

Когда мы возвратились домой, то он сел за фортепьяно и романс «Слышу ли голос твой», был готов.

В 1848 году, как известно, запад Европы волновался; в самой Варшаве, в которой, впрочем, все было совершенно спокойно, по ночам ходили патрули и на площадях располагались отряды солдат. Была уже осень. Одно окно квартиры Михаила Ивановича (в 3-м этаже) выходило прямо на площадь, напротив здания банка, и мы вечером всегда видали разложенный огонь бивака. Это, в своем роде, была живописная картина. В то же время в Варшаве была холера, и по той улице, на которой жил М. И. (на Рымарской) и которая лежит по пути к главному варшавскому кладбищу, часто проходили похороны. Хотя это и было для него неприятно, однакож, он не скучал, постоянно будучи окружен веселым обществом. Шторы в окнах его комнат всегда были опущены, и он большею частью проводил время в своей спальне, в задней половине. Иногда он садился за фортепиано и импровизировал... Вы знаете, какой великий мастер он был в этом искусстве. Иногда случалось, что в это время проходила погре-

* Тяжка печаль
Игрустен свет... и т. д.

(перев. Э. И. Губера)

бальная процессия с длинным рядом католических монахов разных орденов, которых в Варшаве есть довольно. Их печальный, громкий хор часто вдруг прерывал торжественные звуки импровизации Михаила Ивановича. Заглушая сильными аккордами это потрясающее душу пение, это гробовое *de profundis* *, он поспешно уходил в дальние комнаты...

В том же году, вы помните, что осенью он уехал из Варшавы и, больной, провел следующую зиму в Петербурге. В 1849 году, весной, я опять увидел его в Варшаве, совершенно неожиданно. Едва ли причиной его возврата не был портрет одной милой ему особы, который я послал ему в Петербург.

1849 год, проведенный Михаилом Ивановичем в Варшаве, также принадлежит к светлым годам его жизни. Он часто проводил время в одном из загородных садов за Вольскою заставой, у О...⁸, в трех верстах от Варшавы. Там на его долю выпало много ясных дней; там нравилась ему шестнадцатилетняя дочь О..., и там же написал он свои превосходные романы: «Пью за здравие Мери», «Играй, Адель» и «Разговор» (польские слова Мицкевича). Они совершенно согласовались с тогдашним состоянием его души, да и вообще каждый его романс (а их всех, кажется, будет более 60-ти!), можно сказать, прямо взят из его жизни, вырван из самого сердца.

И «Мери», и «Адель», и «Разговор» имели для него действительное поэтическое значение. «Разговор» был посвящен Эмилии О... Это первый и единственный романс, написанный им на польские слова. Прежде нежели М. И. положил их на музыку, он не раз заставлял Эмилию О... повторять их себе, и таким образом изучал смысл и гармонию стихов гениального поэта; потом уже создал музыку, написанную так народно, так по-польски, что все издание этого романса разошлось в Варшаве в самое короткое время. Впоследствии, как вам известно, он вышел с русским переводом («О, милая дева», и проч.) в 1852 году, в Петербурге.

Года 1850 и 1851, проведенные Михаилом Ивановичем также в Варшаве, уже не были столь счастливы для него, по причине болезненных страданий и мрачного расположения духа, которое его почти не оставляло до конца жизни. В последнее время он преимущественно занимался церковною музыкой⁹.

В 1851 году Михаил Иванович собирался за границу, и вы тогда сами приехали к нему в Варшаву для свидания с ним на короткое время. Помните ли, как мы провожали вас в обратный путь и остановились над Вислой, перед мостом? Брат ваш, прощаясь с вами, сказал, что никогда уже не желает более переезжать на ту сторону Вислы... Грустное чувство возбуждают теперь эти слова, когда вспомнишь, что незабвенный наш Михаил Иванович скончался за рубежом родной страны, один, без ваших нежных о нем забот...

Хотя в 1851 г. он собирался за границу, однакож, вдруг переменял свое намерение и вслед за вами уехал в Петербург, где вместе с ним вы и провели зиму.

Пусть будущий биограф расскажет остальную жизнь покойного. Для этого могут служить прекрасным материалом его собственные записки, хранящиеся у вас, и начатые им еще летом 1854 года, в Царском Селе, где он жил на даче вместе с вами. С удовольствием вспоминаю то время, когда я бывал у вас частым гостем в Царском Селе, и Михаил Иванович, в саду, на террасе своей дачи, читывал мне свои записки...

Я был искренно привязан к вашему брату и всегда глубоко чтил его талант; да и кто мог не любить и не уважать этой благородной личности?

* из бездны (лат.)—начальные слова одного из семи покаянных псалмов, исполняемых в заупокойных молитвах

Врагов у него, кажется, не было и быть не могло, хотя иногда и случались мелководные зоилы, на которых он не обращал никакого внимания. Кстати расскажу один случай. Это было в Петербурге, зимою 1854 года. В одном обществе, знакомый мне меломан, имеющий претензию слыть глубоким знатоком музыки, и давно уже, по слухам, им же распространенным, занимающийся приготовлением к изданию будто бы огромного сборника малороссийских песен с их мстивами, стал отзываться о произведениях Михаила Ивановича с некоторою двусмысленностью и даже заметил, что музыка его на песню «Гуде витер» и проч. целиком заимствована из народного малороссийского мотива, и что он присвоил себе чужое! Зная, что это — оригинальное произведение, мне хотелось уличить глубокого знатока музыки и дерзкого зоила. В то же время я послал записку к Михаилу Ивановичу с запросом об этом, объяснив ему в чем дело, и немедленно получил от него следующий ответ: «Действительно, музыка на песню «Гуде витер» (слова Забеллы) сочинена мною, а если она похожа на народный малороссийский мотив — я в этом не виноват!»

Кажется, что меломан не удовлетворился и этим остроумным ответом!

Итак, предоставляя будущему биографу подробно описать всю жизнь Михаила Ивановича на основании его записок, укажу еще на некоторые его любопытные письма, полученные мною от него из-за границы. Вот что он писал ко мне из Парижа, в начале 1853 года (от 11/23 января):

«Не гневайтесь, что до сих пор я не отвечал на ваше дружеское послание. Дело известное — зима, хотя и чрезвычайно легкая в сравнении с нашею (снег выпал только раз и сейчас же растаял, а кроме ничтожных по утрам морозов, других не было), а все-таки зима, враг мой, берет свое. Я не хвораю, а сижу в комнате и вполонину не свой».

«Что сказать вам? Если желаете знать, каково мне здесь, могу ответить: *pas assez jeune pour bien m'amuser, pas assez bête pour trop m'ennuyer* *. В итоге — живу тихо, уединенно, довольно сытно и тепло (по возможности); страдаю несравненно менее, нежели в России, за то не редко овладевает мною ностальгия**, напавшая на меня с самого выезда из Варшавы и сопутствовавшая до берегов Средиземного моря и Пиренеев, так, что вместо Севильи я очутился снова здесь, в Париже. Не сетую; к своим ближе, и местечко не совсем дурное.

Впрочем, эту ностальгию легко объяснить. Бывало путешествие облегчало мои страдания и оживляло, освежало сердце и воображение; теперь же путешествие (особенно в дилижансах и по железным дорогам) для меня труд, мука и пытка. Шибко, нелепо постарел я, милый барин; удовольствия света не по силам; к тому же как-то ничто не утешает. Вдобавок потолстел до безобразия».

Далее он упоминает о своем портрете, которым занимался в Париже один из его приятелей; потом с заботливостью спрашивает, получил ли наш общий друг, доктор Л. А. Г.¹⁰, тех колибри, которых он выслал ему из Парижа, и наконец прибавляет:

«Зима все остановила: и украинскую симфонию, и чтение. До ноября я прочитал здесь Гомера, Софокла и Овидия, разумеется в переводе на французский язык».

Упоминаемой здесь украинской симфонии покойный М. И. хотел дать название: «Тарас Бульба», основываясь на повести Гоголя. Он давно задумал ее и еще в Варшаве импровизировал мне некоторые ее части, мечтая

* Недовольно молод, чтобы очень веселиться, недостаточно глуп, чтобы слишком скучать (франц.)

** Ностальгия (Nostalgie) — тоска по родине (франц.)

вратительном городе, в особенности для художника. Парижанки, хотя без души, но милы и приветливы (в роде полек), парижанин же — самое отвратительное животное (animal) в мире. Но оставим все это. При свидании изустно лучше передам мои впечатления. Скоро надеюсь вырваться из этого проклятого Вавилона».

Так разные душевные прискорбия, испытанные им в жизни, и расстроенное здоровье постепенно убивали в последние годы могучую душу гениального русского художника.

М. И. ЖЕЛЕЗНОВ

ВОСПОМНАНИЯ О М. И. ГЛИНКЕ

Незадолго до отъезда за границу К. П. узнал, что М. И. Глинка возвратился из Испании в Петербург, и с нетерпением ждал его к себе, но Глинка не торопился посетить его. Невнимание Глинки было чувствительно Брюллову, и у него не раз вырывались слова:

— Я думал, что Глинка меня больше любит.

Свидание Брюллова и Глинки состоялось без меня, но на другой день после него, только что я вошел в мастерскую, Брюллов сказал мне:

— Вчера у меня был Глинка¹.

В Париже², известный актер В. В. Самойлов, познакомил меня с Глинкою, Глинка за что-то полюбил меня, приглашал меня к себе обедать, а, наконец, требовал, чтобы я всякий день хоть на минуту заходил к нему. Он заставлял меня рисовать портреты с приходивших к нему приятелей, с живших у него француженок, был очень доволен, что я, по его желанию, охотно брался за карандаш, и пресерьезно говорил, что он у себя дома от всех требует безусловного повиновения, потому что «любит спрягать Николая Павловича». Однажды за обедом разговор зашел о Брюллове, и кто-то сказал, что у него было сухое сердце.

— Некоторое время я думал то же самое, — отвечал Глинка, — но впоследствии я начал сомневаться в этом. Я часто сходил к Брюллову и при нем у Кукольника, сказал, что представить меня к карикатуре было невозможно. Брюллов слова мои замотал себе на ус и сделал на мои жесты ряд карикатур, которые заделали меня за живое. Заметив это, Брюллов так зло стал преследовать меня своими карикатурами, что я совершенно охладел к нему. Но потом, когда его племянница выходила замуж, он приехал ко мне, просил меня съездить с ним к Вирту, выбрать для него фортепиано, и так хлопотал все хорошо придумать, чтобы подарок доставил племяннице удовольствие, что я невольно подверг сомнению его сухость сердца. Но вот что меня поразило и тронуло. По приезде из Испании я сделал Брюллову визит и просидел с ним довольно долго. При прощании Брюллов сказал мне: «Ну, я скоро уеду отсюда умирать и тебя, верно, более не увижу. Я часто досаждал тебе; но ты забудь это: я очень хорошо понимал, что изо всех людей, которые здесь меня окружали, только ты один был мне брат по искусству». Я не выдержал, бросился ему на шею и мы оба прослезились [...]